

Александр
МЕЛИХОВ

ЗАСТЫВШЕЕ

ВХОД



ЛИМБУС ПРЕСС
Санкт-Петербург



Александр Мотельевич Мелихов

Застывшее эхо (сборник)

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=27061285

Застывшее эхо: эссе: Лимбус Пресс; Санкт-Петербург; 2017

ISBN 978-5-8370-0834-4

Аннотация

Кажется, нет ни одного мучительного вопроса современности, о котором писатель и публицист Александр Мелихов не высказался бы на страницах этой книги с безжалостной ясностью – терроризм и наркомания, Сталин и Солженицын, Израиль и Казахстан, антисемитизм и сионизм, – и со временем его суждения не утратили ни глубины, ни остроты, ни блеска. Главное положение социальной философии автора: человек всеми силами стремится преодолеть чувство собственной ничтожности, все остальное – только средства этого преодоления. В свете подобного взгляда привязанность к тиранам и национальная вражда превращаются из бессмысленных иррациональностей во вполне рациональные способы достижения вожделенной цели. Которые и преодолевать можно вполне рационально.

Содержание

Состязание грез	5
Рассуждая по-дилетантски	18
Романтикой по романтике!	23
Обида побежденных	32
Недоучки и джентльмены	40
И. Грозный как литературный прототип	45
Где митинги в защиту гениев?	51
Анна и Нора, Марфа и Мария	57
Кто следующий?	60
Улица поджигает	67
Самозащита без оружия, или новое изгнание из	70
Эдема	
Конец ознакомительного фрагмента.	78

Александр Мелихов

Застывшее эхо

© А. Мелихов, 2017

© ООО «Издательство К. Тублина», макет, 2017

© А. Веселов, оформление, 2017

*** * ***

Состязание грез

Один из многих парадоксов демократии заключается в том, что она нежизнеспособна без аристократии, готовой жертвовать нуждами сегодняшнего дня ради того, что понадобится лишь будущим поколениям (а может быть, и тогда понадобится лишь немногим, да и то в качестве всего лишь прекрасного, всего лишь величественного, не приносящего ощутимой пользы).

Жизнеспособно ли общество, состоящее сплошь из аристократов, готовых жертвовать полезным во имя отдаленного или прекрасного, – вопрос сложный, хотя и несколько академический: законченный аристократ всегда редкость, а уж в наше время особенно. Но то, что без аристократии у любого общества исчезнут всякие мотивы осуществлять какую-то более или менее длительную стратегию, плоды которой будут пожинать другие поколения, – это представляется довольно очевидным. Отдаленного или прекрасного... Почему «или», а не «и»? Кто же станет жертвовать во имя отдаленного и безобразного, отдаленного и скучного? Но по-настоящему прекрасной бывает только греза, реальность всегда слишком противоречива, пестра, контрастна, чтобы воодушевлять; любить до самозабвения человек способен лишь собственные фантомы или, по крайней мере, реальные предметы, преобразованные и украшенные фантазией (чаще, по-

жалуй, чужой, если речь идет о социальной реальности). Дар ценить плоды фантазии выше материальных фактов и делает человека человеком: только человек способен жертвовать во имя того, чего нет, что существует лишь в его воображении. Собственно, это и есть определение аристократизма – готовность жертвовать наглядным во имя незримого. И без толики служения незримому невозможно даже самое демократичное и прагматичное общество.

Общество – это и семья, и промышленная корпорация, и нация, и человечество. Но осуществлять сколько-нибудь продолжительные и ощутимые в историческом масштабе программы совместной деятельности во имя будущего пока что могут почти одни только нации (имеются в виду так называемые политические нации, включающие в себя всех граждан одного государства), другие сообщества почти не располагают наследственными институтами, осуществляющими историческую преемственность (у промышленных корпораций, кроме того, и с бескорыстием чаще всего бывает слабовато – не для того они создаются). Поэтому целенаправленную деятельность исторического масштаба с древних времен и по нынешнее обычно осуществляет национальная аристократия. (Надеюсь, в свете вышеизложенного излишне разъяснять, что национальная аристократия образуется не по крови, а по готовности жертвовать близким и ощутимым во имя отдаленного и незримого.) Но поскольку всякая коллективная наследуемая деятельность вдохнов-

ляется коллективными наследуемыми фантомами, то и деятельность национальной аристократии должна неизбежно вдохновляться фантомами главным образом не личными и не общечеловеческими, а национальными. Иначе говоря, национальной аристократии (а и никакой гражданин невозможен без доли аристократизма) необходим идеализированный образ своей страны, страны, не просто обеспечивающей комфорт и безопасность, но трогательной и эстетически привлекательной, – без этой поэтической архаики, по-видимому, не может обойтись ни одно самое демократическое и либеральное государство: государства стоят не столько на корысти, сколько на поэзии. *«Нацию создает общий запас воодушевляющего вранья»*, – написал я когда-то в «Исповеди еврея», и при всей намеренной заостренности этой формулы сегодня я не вижу в ней ничего унижительного: всякая любовь зиждется на идеализации, то есть на замалчиваниях, приукрашиваниях и даже прямых выдумках. Попытка построить жизнь исключительно на правде обернулась бы злейшей антиутопией. И одна из самых трудноразрешимых проблем сегодняшней России – отсутствие сколько-нибудь общепризнанного воодушевляющего ее образа, коллективной грезы, которая не была бы опасна для нее самой и окружающего мира. Грезы, которая порождала бы гордость, пускай скорбную гордость, за свою страну, порождала бы готовность переносить какие-то тяготы ради ее будущего и не порождала бы внешнюю агрессию и внутренний деспотизм, – эти тре-

бования к «национальной идее» в российской истории столь часто (вплоть до нынешней минуты) противоречили друг другу, что временами их совмещение представляется столь же неосуществимым, как мечта построить круглый треугольник. Кроме того, взыскуемый образ не должен слишком уж явно противоречить известным фактам, а поскольку в разных социальных группах считаются твердо установленными факты не просто различные, а иной раз и прямо противоположные... Речь может идти скорее о создании внутренне противоречивой системы, в которой каждая социальная группа могла бы найти чарующий ее аспект, к чужим аспектам («иллюзиям») относясь хотя бы без вражды, а еще лучше – с отеческим снисхождением. Построение такой системы – дело не одного года и не одного человека, но, во всяком случае, это работа скорее для художников, чем для идеологов; это нашему брату законы не писаны, это мы свободны от обязанности непременно сводить концы с концами. *Но если* в истории страны прежде всего бросаются в глаза то великие победы, то великие поражения (все равно отзывающиеся во всемирной истории), возникает соблазн и дальше двигаться путем наибольшей простоты – путем исторической инерции: то выбиваться чуть ли не в мировые лидеры, то скатываться на грань исчезновения – тут же, впрочем, начиная грезить о новом витке. Чтобы выбраться из этой опасной спирали – можно однажды достичь таких высот, падение с которых окажется уже несовместимым с жизнью, – великим народам

иной раз можно поучиться и у народов малых (я не вкладываю в слова «малый народ» того сакраментального значения, которое им придал И. Шафаревич). Малым народам неизмеримо легче выйти из положения, в которое они никогда не имели ни соблазна, ни возможности попасть. Финны для меня – самый загадочный народ в Европе (я бы даже сказал: в мире, если бы мое европоцентрическое невежество не обязывало меня держаться скромнее). Не имея ни собственного государства, ни изолирующей религии или образа жизни, ни воображаемой всемирно-исторической миссии, без всяких видимых истерик сосредоточиваться, воодушевляться смесью вымыслов и правды, крепнуть, становиться на ноги, выстаивать, обустроиваться – во имя чего?.. В чем они видят свое величие (невозможное без примеси ужаса)?.. Века под властью шведов, неудачные восстания, переход под власть российской короны – снова не по собственному решению, а по договору между шведами и русскими, – независимость, опять-таки дарованная Лениным в явной надежде вскорости забрать ее обратно, одну или вдвоем с Парижем (не тут-то, правда, было), гражданская война, которую, кажется, только советская власть сумела возвести из величайшего бедствия в предмет национальной гордости, и наконец-то зимняя война с Советским Союзом – едва ли не первая за бог знает сколько веков страница канонически (в привычном нам смысле) героическая: вооруженная борьба с внешним агрессором. Борьба, кто спорит, геройская, одна-

ко все же проигранная, приведшая к потере десятой части и без того отнюдь не обширной территории. Затем компрометирующий союз с Гитлером... Оно, конечно, куда было деваться, и все-таки союз с нацизмом есть союз с нацизмом — обстоятельство, гораздо более вызывающее к замалчиванию, чем к романтизации.

Затем разгром (при многократно превосходящих силах противника, но все-таки разгром), выход из войны, потребовавшей военных действий против вчерашнего союзника... Оно, опять же, куда было деваться, да и союзник-то был таков, что с ним чем хуже, тем лучше, но ведь для национальной легенды в привычном вкусе требуется не прагматизм, а бескорыстие, и неважно, что в международных отношениях оно еще большая редкость, чем в отношениях межличностных. Нет-нет, я очень даже верю в бескорыстие народов, тем более что народы и не могут действовать иначе как бескорыстно, покуда они остаются чем-то целым, а не грудой разрозненных прагматиков. Но народы всегда действуют во имя своих, а не чужих фантомов (не обращая внимания, что большинству их граждан как частным лицам эти фантомы выходят боком). Нацию создает общий запас воодушевляющего вранья, и лучше всего воодушевляет, мне казалось, вранье героическое. Притом воодушевляться самой расхристанной победой все-таки гораздо легче, чем даже самым героическим поражением. Как же устроились с этим делом финны, думал я, направляясь в исторический музей города Хель-

синки. Какие победы они раскапывают в своей истории унижений и поражений? Дело началось, как всегда, издалека – чьи-то кости, древний кнут... Затем какая-то история с этнографией, но даже и без языка было ясно, что о доблестях, о подвигах, о славе там если даже что-нибудь и есть, то разве лишь в самых гомеопатических дозах. И, наконец, роковой момент – 1809 год, переход под власть российского деспотизма. И что же? Раззолоченное кресло Александра Первого при коротенькой табличке: присоединение к России было полезно в таких-то и таких-то отношениях. И все. Затем снова какие-то трудовые будни – будни, будни, будни – и еще раз, наконец, скромное отсоединение от России. И опять никакого пафоса – ни торжества, ни вдохновенья: отделение от России было полезно для того-то и того-то; и присоединились – хорошо, и отсоединились – тоже хорошо. А как же победа белофиннов над Красной гвардией – со всеми положенными казнями и тюрьмами? Ни-че-го-шеньки! Я, по крайней мере, ничего не высмотрел. Зимняя война, правда, немножко есть, но без всякого нажима на вечную русскую угрозу: повоевали, мол, и хватит, пора заняться делом. И дальше снова идут дела, дела, дела... Как прикажете это понимать? Пресловутое историческое беспамятство? Или финская элита хочет превратить простых людей в пресловутых манкуртов, в Иванов, вернее, Ханну, не помнящих родства? А может быть, это мудрое стремление держать простого человека подальше от трагических вопросов, чтобы не плодить фа-

цизм всех цветов радуги? Ибо в психологическом основании фашизма всегда лежит стремление к простоте: людей, не выносящих противоречивости и непредсказуемости, я и называю простыми.

Разумеется, в либеральной Финляндии выходят книги на самые болезненные исторические темы, но чтобы прочесть эти книги, ты должен сам захотеть, а просто раскладывать, просят не просят, у всех перед носом раздражающие факты, способные вызвать непредсказуемую реакцию, не принято... Впрочем, почему «не» – вполне предсказуемую. Реакции простого человека всегда однотипны (в противном случае он уже не простой). И уместны, разве что когда неприятель стоит у ворот. «Прошу прощения, – робко обратился я к своим спутникам-финнам, – в древние, дескать, времена, финнам, не имеющим своего государства, как будто не приходилось вести особенно много войн – насколько мне известно, хотя и я могу чего-то и не знать (беседуя о всегда щекотливых национальных вопросах, полезно топить прямой смысл в тысячах оговорок. – А. М.), так вот, где же они, финны, если без обиняков, берут национальных героев, которых проще всего творить, конечно же, из полководцев, притом победителей?» (Где, иными словами, их Александры Невские, Суворовы и Кутузовы?) «Финны совсем немало воевали, – без промедления ответил самый пожилой из моих спутников, – шведы всегда вели войну до последнего финского солдата. И нашим героем является имен-

но он – неизвестный солдат. Который все выдержал, не надеясь даже на посмертную славу». – «Нашими героями являются крестьяне, воспетые поэтом Рунебергом, который, хотя и писал по-шведски, все равно является финским национальным поэтом, его лира яснее всего звучит для финских ушей», – поэтически выразился спутник помоложе. «Многие из нас считают национальными героями ветеранов зимней войны, – потупливая взор, сказал третий собеседник. – А вместе с ними и женщин, которые держали на себе тыл. И еще мы гордимся тем, что сумели выплатить военные репарации и восстановить нормальную жизнь, – прибавил он, – и вообще мы умеем быстро выходить из кризисов». – «А как у вас в школе ведется патриотическое воспитание? – вспомнил я свое детство. – У вас учат, что вы лучше всех, – и в чем лучше?» – «Нет-нет, – заспешили они хором, – у нас учатся дети разных национальностей, такое говорить нельзя». Тем более что шведский язык – просто второй государственный (в расписаниях поездов, и правда, каждый город имеет два названия, иногда совсем непохожие, типа «Турку-Або»). Но в семьях многие учат: ты финн, ты должен быть стойким. «Меня воспитывали в большом преклонении перед зимней войной, – снова, уже грустно, сказал третий собеседник. – Но нынешней молодежи на это, по-моему, уже плевать». При этом все невольно покосились на самого молодого. Он заалел, как умеют алеть только блондины, и заговорил с очень облегчавшими работу переводчицы запинани-

ями, но явно обдуманно и убежденно. «Мы, финны, – примерно так я могу пересказать его сбивчивую речь, – гордимся не тем, что кого-то победили, а тем, что не дали победить себя. Выстояли между агрессивными гигантами Востока и Запада, сохранили свой язык и свою культуру. Но если мы чересчур сосредоточимся на военных подвигах, то можем не заметить совершенно новое испытание, которое уже не требует ни оружия, ни храбрости. В нашу страну прибывают тысячи людей, принадлежащих другим культурам, равнодушных к будущему нашего народа, а часто даже раздраженных против него из-за того, что они чувствуют себя здесь людьми второго сорта.

Но если когда-то казалось естественным, что человеком первого сорта можно сделаться, только приспособившись к доминирующей нации, то теперь представляется естественным, наоборот, приспособливать доминирующую нацию к себе. Причем та даже не решается открыто протестовать, поскольку сама же вместе со всей Европой много лет провозглашает, что не личность должна приспособливаться к обществу, а общество к личности, что все культуры имеют равные права. Но те, кто к нам приезжает, вовсе не считают, что все культуры равны, они убеждены, что их культура лучше. Когда финка выходит замуж за араба, вы думаете, она будет готовить ему финские блюда? Нет, она будет готовить арабские блюда! И ходить в платке – многие уже ходят!» – «Он у нас расист», – пояснил мне первый собеседник, улыбкой

показывая, что шутит, но одновременно словно бы гордясь не то смелостью, не то экстравагантностью своего молодого коллеги. Однако тот возразил почти гневно: «Я не расист, я считаю, что все люди любого цвета кожи имеют право делать все, что делаем мы. Но если они не любят то, что люблю я...» – «Считается, что любовь можно вызвать хорошим обращением», – осторожно заметил я. «Да, наши левые тоже думают, что любовь можно купить, – горько усмехнулся молодой. – Они уверены, что наш образ жизни настолько идеален, что отворачиваться от него можно только по недоразумению: стоит нашим недоброжелателям открыть на него глаза, и они сделаются такими же, как мы. А на самом деле многие из тех, кто у нас поселяется, чем лучше нас узнают, тем сильнее ненавидят. И с этим ничего не поделаешь. Все предпочитают любить свое, а не чужое. Поэтому мы должны научиться обходиться без чужаков. Мы должны начать сами выполнять ту работу, на которую сейчас пускаем иностранцев. Мы должны производить на свет столько же детей, сколько производят они». – «Сегодня самое главное стратегическое оружие – мужской член», – завершил первый собеседник, и все с облегчением рассмеялись, радуясь возможности выбраться из безысходной серьезности.

При совместном жительстве народов, в который раз подумал я, в конце концов одолевает тот, чье воодушевляющее вранье воодушевляет сильнее, чья греза сильнее чарует, пьянит: состязание технологий сменяется состязанием грез.

Уж кто-кто, а мои собеседники – наркологи по профессии – знают, что трезвыми глазами смотреть на жизнь невозможно, жертвовать человек способен только грезе: трезвая рациональность, наоборот, подсказывает ему все использовать в своих интересах. Но для мира требуются совсем иные грезы, чем для войны. Принцип «не одолевая других, а сохранять себя», по-видимому, актуален сегодня не только для финнов, но и для русских: наша доля в мировом народонаселении, мировом производстве такова, что не хочется даже лишней раз произносить ее вслух. Правда, опасность превращения в национальное меньшинство русскому народу пока что, кажется, не грозит. Хотя... Однако более актуальным для него выглядит другое испытание, или, как теперь принято выражаться, вызов: это соблазн граждан устраивать свою судьбу отдельно от него. Если все, кто достаточно квалифицирован, энергичен, смел, станут стремиться в более благоустроенные страны, а в России будут оставаться лишь те, кому некуда деваться, – это и сделается поражением России в состязании грез (деликатнее выражаясь – культур), за которым неизбежно следует и поражение технологическое. Да-да, думал я, остановить движение людей от менее преуспевающих народов к более преуспевающим, от абсолютной корыстности к относительному бескорыстию могут только грезы. Теоретически остается, правда, возможность удержать беглецов силой, но это потребует столь жестокого подавления всех внутренних потенций, что лишь ускорит и усилит

проигрыш. В этом новом состязании – состязании грез – от аристократов требуется уже не готовность без рассуждений обращать свою шпагу против того, на кого укажет власть, а готовность отказываться от соблазнов более приятной жизни – даже и для своих детей и внуков – ради продолжения русских грез, русского языка и всех порожденных ими ценностей. И тут нельзя не вспомнить тот народ, который очень много творил на русском языке и из любви к русскому языку, русской культуре, но постоянно подозревался в недостатке преданности воинственным преданиям, в недостатке вражды к народам-соперникам, – я говорю, разумеется, о еврейском народе (эти, как всегда, о своем, как однажды обронил Солженицын). Сегодня подвергается испытанию не вражда к чужому, а привязанность к своему, и в этом испытании очень многие евреи тоже выполняют функции русской национальной аристократии. Ибо очень многие из тех, кто начиная с конца восьмидесятых остался в России, предпочли незримое ощутимому, предпочли грезу факту. Что и есть главное свойство аристократа. Национальную безопасность сегодня (как, впрочем, и всегда) определяет не только прочность границ, но и прочность грез. И если бы я был президентом, я бы считал одной из важнейших стратегических задач поддержку национальной аристократии. При этом я бы вкладывал деньги не в аристократию какой бы то ни было крови, а в аристократию духа. То есть в творцов и хранителей грез.

Рассуждая по-дилетантски

«Для чего люди одурманиваются?» – сурово вопрошал пьющую Россию великий моралист Лев Толстой и сам себе отвечал еще более сурово: чтобы заглушить указания совести. Менее строгий Глеб Успенский рисовал более снисходительную картину: когда полунищему мастеровому переппадают кое-какие деньжата, перед ним встает вопрос: отнести их домой к своему разрушенному хозяйству, где они не принесут ему ни капли радости, или отправиться в кабак, где они доставят ему хотя бы несколько часов веселья? За которым, безусловно, явится расплата, но это же будет только завтра! Ну а классик мировой психиатрии Эмиль Крепелин пришел к совсем простому выводу: алкоголь снижает внимание и критичность.

Поэтому пьяные способны игнорировать не только сигналы совести, но и сигналы бережливости – всем известная пьяная щедрость, пренебрегать не только требованиями стыдливости – справлять нужду где попало, но и требованиями осторожности – известна и пьяная щепетильность в вопросах чести вплоть до мордобоя по самым незначительным поводам. Пьяные теряют возможность отнестись критически даже к собственному отчаянию, а потому больше половины самоубийств совершается в пьяном виде.

Иными словами, услуги, оказываемые алкоголем, более

чем сомнительны, если учесть плату за то, что им ненадолго оказывается повержен «тиран – рассудок хладный» (Шандор Петефи). Но почему же поэты сложили в честь него столько гимнов? «Так пусть же до конца времен // Не высыхает дно // В бочонке, где клокочет Джон // Ячменное Зерно!» Ведь поэзия – душа народа, и как же мог Пушкин – наше все – написать столь бравурные строки в честь очевидного яда: «Подыдем стаканы, содвинем их разом!» Мог, потому что за этим немедленно следует противоядие – иные формы упоения: «Да здравствуют музы, да здравствует разум!»

Человек не может смотреть на жизнь трезвыми глазами – она становится слишком тягостной, и если он утрачивает культурные формы самозабвения, он начинает добивать до нормы психоактивными препаратами. «Есть упоение в бою // И бездны мрачной на краю» – упоение риском известно и сегодняшним любителям экстрима. Зато упоение в труде («Раззудись плечо! // Размахнись рука!») сегодняшнему среднему работнику – исполнителю чужих замыслов, вероятно, почти незнакомо. А вот тот же Глеб Успенский чрезвычайно убедительно показывал, что труд для крестьянина был вовсе не каторгой, но составлял смысл и красоту его жизни.

И вообще, радость – это достижение цели: кто не имеет целей (или они оказываются недостижимы), тот не имеет и радостей. Каждому из нас необходимы хотя бы мелкие достижения, сигнализирующие нам, что и мы чего-то стоим, но сегодняшняя жизнь оставляет простор для личной инициати-

вы лишь немногим. И тогда мы подкрепляем себя достижениями тех, с кем мы идентифицируемся, в том числе и по национальному признаку: достижениями наших спортсменов, наших ученых и так далее. Оттого поддержка наиболее одаренных и наиболее романтических есть в существенной степени и профилактика алкоголизма: личным пьянством люди тщетно пытаются исцелить среди прочих и общенациональные неудачи. Тот же Шандор Петефи писал о своей покоренной Венгрии: «Когда б на самом деле хмель // Мог родине помочь, // Я б согласился б вечно жить // И вечно за отчизну пить, // Вот так – и день и ночь!»

Но действовать гораздо сладостнее, чем просто искать забвения: «Блаженны те, кому дано // В короткой этой жизни // Любить друг, и пить вино, // И жизнь отдать отчизне!» Надо ли разъяснять, что способы служения отчизне бесчисленны, и лучше всех сегодня ей служат труженики гуманитарной сферы – учителя, врачи, библиотекари, внезапно обретшие воодушевляющее имя «бюджетники», как бы намекающее на некий их социальный паразитизм. Но ведь не только красивое имя – высокая честь, но и некрасивое – бесчестье. Скажите на милость, сегодняшняя культура хоть как-то воспекает, простите за выражение, человека-труженика? Кидает ли ему победившее лакейство хоть какую-то косточку со своего стола? Жива ли еще романтика хоть какой-то деятельности, кроме грызни за собственность и популярность все равно за какие заслуги? Я имею в виду романтику в ис-

кусстве, в жизни-то ее по-прежнему несут одиночки – которые только и наполняют нашу жизнь смыслом и красотой.

Только романтика жизни – упоение жизнью – может вытеснить романтику пьянства. Однако в нашей жизни все упительное успешно вытесняется прагматизмом – нелепой уверенностью, что физические ощущения гораздо важнее психологических переживаний, хотя дело обстоит ровно наоборот. Правда, вместе со всякой романтикой, мне кажется, пошла на убыль и романтика пьянства. То есть люди по-прежнему пьют, но этим уже не бахвалятся, и вакхическая поэзия на общем горизонте решительно не блещет. Если это действительно так, то нами незаметно одержана важная культурная победа: пьянство продолжает жить в качестве факта, но не в качестве идеала. И, значит, отныне оно станет признаком не лихости, но слабости.

Надеюсь. Однако с наркоманией, мне кажется, этого еще не произошло: в каких-то субкультурах она представляется делом, конечно, опасным, но романтичным. А потому именно на деромантизацию наркотиков и нужно бросить культурные силы. По крайней мере, лично я в своем романе «Чума» старался показать, что наркотики не просто ужас, но еще и мерзость. А вот, скажем, у Берроуза они выглядят не менее романтичным атрибутом разочарования в жизни, чем ром у Ремарка. Я отнюдь не предлагаю запрещать подобных классиков жанра – я предлагаю составить библиотечку, в которой правда о наркотиках рассказывается не только на уровне

физиологии, но и на уровне психологии.

Даже одна вовремя прочитанная исповедь матери «Мой любимый наркоман» Елены Рудниковой отвратила бы от наркотиков тысячи юных душ. Эта вещь в свое время получила премию в журнале «Нева», но никакие компетентные органы ею с тех пор не заинтересовались.

Это понятно, что у серьезных людей много других дел, кроме как следить за дилетантскими охами и ахами, но ведь юношество-то наше тоже состоит в основном из дилетантов, оно пока еще способно и ужасаться, и сострадать – почему бы не составить для него библиотечку типа «Правда о наркотиках»? Только правда не медицинская, а художественная.

А если серьезным людям не до того, автор этих строк готов был бы по-дилетантски взять этот труд на себя. Он, к сожалению, кое-чего повидал.

В конце концов, во времена Минина и Пожарского Россию спасли дилетанты.

Романтикой по романтике!

Страсть опьяняться была присуща даже самым высокоинтеллектуальным и героическим культурам. У Платона есть упоминание, что добродетельные люди в Аиде будут награждены вечным опьянением. Пьяные оргии Римской империи расписаны многократно, но при этом Тацит разглядел в чужом глазу древних германцев тот позорный факт, что они способны пить целый день и целую ночь. Храбрые викинги мечтали вечно бражничать в Валгалле, освещенной блеском мечей, в компании бога Одина, который вообще пил без закуски. Но был ли известен этим воинам и бражникам алкоголизм как физическая и нравственная деградация? Они ведь трусов топили в грязи и могли казнить бойца, прибежавшего по тревоге последним...

Чем внимательнее ученые изучали жидкость, в Средние века именовавшуюся «вода жизни», тем меньше полезных свойств они в ней обнаруживали, но ее потребление все росло и росло. В начале XX века лондонский рабочий тратил на выпивку пятую часть своих доходов (петербургский – четверть), хотя еще в 1720 году была попытка ударить по пьянству антиалкогольным Джин-актом. Питейные же расходы тогдашних немцев превосходили государственный бюджет. Энгельс объяснял алкогольные увлечения рабочего класса в Англии, разумеется, капиталистической эксплуатацией:

«Пьянство перестает быть пороком, ответственность за который падает на его носителей». Поэтому при социализме пьяницы несли уже личную ответственность в лечебно-трудовых профилакториях (кто эксплуатировал вольных германцев, остается тайной).

Люди всегда лучше видят соломинку в чужом глазу: с XVIII века по Европе гуляла поговорка «Пьян, как швед». Может быть, именно поэтому к концу XIX века на весь мир прогремела «готенбургская (геттеборгская) система»: водку полагалось пить лишь с горячей закуской, с которой только и должна была взиматься прибыль; взыскивать алкогольные долги воспрещалось; распивочные должны быть просторными и светлыми и располагаться вдали от ярмарок, воинских учений и т. п. С 1919 года «готенбургская система» была заменена системой Брат-та – знакомыми нам талонами: около четырех литров на семью в месяц. Нечто в этом же роде практиковалось в Норвегии, Финляндии. В ответ, естественно, росла контрабанда, но катастрофических последствий с массовыми отравлениями, с организованной армией бутлегеров, к счастью, не возникло. Но говорило это лишь об относительной зрелости населения и относительной неподкупности контролирующего аппарата.

В начале XIX века Соединенные Штаты Америки стояли на первом месте по потреблению рома, а общеамериканское общество трезвости возникло в Бостоне почти одновременно с восстанием декабристов. Однако после первых

успехов воцарилось уныние. В середине века по Америке прокатилась волна «женских крестовых походов», варьирующих методы воздействия от публичных рыданий до погромов распивочных (без завоевания женщинами политических прав едва ли состоялась бы и грядущая победа «сухого закона»). Приблизительно тогда же многие штаты попытались загнать зеленого змия в аптеки, чтобы выпускать его оттуда исключительно для медицинских и технических нужд. В итоге пьянство скрылось в семью, в тайные притоны (Джек Лондон вспоминал, как его зазывали выпить в парикмахерские и мебельные магазины), расцвели подкуп, контрабанда, отравления суррогатами – незнакомы нам здесь, пожалуй, лишь продающиеся на улице полые трости с пинтой доброго пшеничного виски.

Авраам Линкольн, после Гражданской войны подписывая спасительный для бюджета закон о высоких налогах на алкоголь, опасался, что эта мера будет «похуже рабства». Но одним из главных аргументов в пользу отмены глухих запретов был признан все же моральный ущерб: массовая привычка к нарушению закона представлялась тогдашнему обществу более опасной, чем алкогольные злоупотребления (при этом в 1883 году был принят закон об обязательном преподавании в школе специального антиалкогольного курса). Однако в результате ряда политических комбинаций двадцатые годы в США сделали эрой «сухого закона», так знакомой нам по гангстерским фильмам. А унылая статистика уже к

24-му году зафиксировала почти прежнее число задержаний в пьяном виде и отравлений алкоголем, конфискацию полу-миллиона литров «аква виты», арест 68 тысяч бутлегеров...

К слову сказать, полный запрет спиртного впервые был испытан Исландией в 1913 году, но вскоре был отменен под давлением Испании, пригрозившей отомстить за свои вина отказом от исландской рыбы. Виноделы всегда стойко боролись за счастье не только собственных народов: по условиям Версальского мира разрешалось ввозить в Германию алкогольные «произведения почвы» на льготных условиях; в 1907 году Франция угрожала отказать русскому правительству в кредитах, если оно позволит принять «сухой закон» Финляндскому сейму.

Сама Россия перед Первой мировой войной стояла на шестнадцатом месте в мире по потреблению абсолютного алкоголя – около 3,5 литра на душу (на первом месте была Франция – 23 литра), и даже по водке лишь на восьмом месте – 6,25 литра (чемпионка Дания выпивала 10,5 литра пятидесятиградусной водки на душу). Правда, если исключить детей, магометан, евреев и тому подобную непьющую публику, то душевое потребление водки подскакивает под 30 литров. А если взглянуть на количество ежегодных смертей «от опоя» на 1 миллион населения, то во Франции их окажется лишь И, а в России – 55. В Петербурге за появление в пьяном виде задерживалось ежегодно 50–60 тысяч гуляк, а в более многолюдном Берлине – в 10–11 раз меньше. Мы всегда лю-

били пить с размахом.

С тех пор как святой Владимир отверг магометанство знаменитым афоризмом «Руси есть веселие пити, и не можем без того быти», Русь пронесла это веселие и через церковные проклятия, и через царские указы. Есть свидетельства, что еще Иван Третий закрыл корчмы по Москве, а его преемник Василий позволил бражничать в специальной слободе лишь слугам великого князя да иностранцам (чуть не приписалось: «в валютных барах»). Овладев Казанью, Иван Грозный исключительно для опричников завел на Балчуге «царев кабак», по образцу которого начали заводить кабаки и в других городах, искореняя частный сектор (в отличие от татарских кабаков, еды там не полагалось). Как утверждает автор «Истории кабаков в России» И. Г. Прыжов, появление таких питейных домов отзывается на всей последующей истории народа.

Монастырям, правда, разрешалось курить вино «не для продажного питья» – «таких не заповедью надо смирать, а кнутом прибить». И в XIX веке «высшего чину духовным людям» разрешалось лишь «отдавать питейные их дома и винокурни» в аренду, но не торговать самим. Зато высшая власть сама многократно жаловала духовенство казенным вином.

Право держать кабак было важной разновидностью и дворянских «кормлений». Указом 1756 года винокурение дозволялось дворянам для домашнего употребления, но стро-

го по чину: от 1000 ведер в год чинам первого класса до 30 чинам класса четырнадцатого. Указом же 1758 года по 1000 ведер в год собственной выкурки даровалось гофмейстерине, статс-дамам и фрейлинам. На каждый кабак как источник дохода был положен свой «оклад» (планировалось от достигнутого), выборным кабацким головам и целовальникам предписывалось «питухов не отгонять», а в случае недобора шли на правеж сначала они сами, а если взять с них ничего не удавалось, то их избиратели: праветчиков ставили босиком у приказа и, покуда не отдадут долг, поочередно били палкой по икрам, занимаясь этим ежедневно, кроме праздников, по часу в день, но не более месяца. Однако иногда битье продолжалось с утра до вечера, и здесь могло пригодиться гуманное исключение из закона: дворяне и бояре могли выставлять вместо себя своих людей. Посредством правежа кабацкие сборы дожимались даже при Екатерине.

Правительства всегда раздирались между желанием искоренить вредоносный порок и желанием на нем заработать. В первые годы крутой и аскетичной советской власти водка в ресторанах подавалась исключительно в чайниках (см. Зоценко). За первое полугодие 1923 года было конфисковано приблизительно 75 тысяч самогонных аппаратов и возбуждено около 300 тысяч уголовных дел (примерно по 5 аппаратов и 20 дел на тысячу крестьянских дворов). По прикидкам Госплана, в том же году население Дальнего Востока и Закавказья потребило около 24 миллионов ведер двадца-

типятиградусного самогона. (Виной всему были, разумеется, кулаки и подкулачники.) Было подсчитано, что фабричная «выкурка» потребовала бы в семь раз меньше зерна, не говоря уже о потерянных налогах. В итоге товарищ Сталин констатировал: «Мы не можем пойти в кабалу к западноевропейским капиталистам... Тут надо выбирать между кабалой и водкой, и люди, которые думают, что можно строить социализм в белых перчатках, жестоко ошибаются». С 1925 года было решено положиться на то, что пьянство отомрет само собой вслед за уничтожением эксплуататорского строя и культурным ростом народа, а покуда в 1925–1926 годах на душу в рабочей семье пришлось 6,15 литра водки в год (класс – он тоже выпить не дурак), а на прочее городское население – примерно 3 литра. Кое-кто пытался завлекать рабочих в клубы «товарищескими беседами за кружкой пива», так что самому товарищу Троцкому пришлось разъяснять культпросветработникам, что отвлекать пивом от пивных все равно что изгонять черта дьяволом. Либо водка опрокинет культурную революцию, либо культурная революция победит водку, пророчествовал товарищ Бухарин, но схватка, однако, длится до сих пор.

И все-таки одна важная победа, повторяю, мне кажется, одержана: народ выпивает, но уже почти не воспевает алкоголь, а это значит, что вино из пленительного культурного символа превратилось в скучный, как выражаются наркологи, «адаптоген», опасное обезболивающее для нестойких

душ. По крайней мере, что-то не припоминается современного «Подыдем стаканы, содвинем их разом!»...

Да и в пушкинскую пору гусарский культ Вакха уравнивался культом Марса и Венеры – культом храбрости и любви, абсолютно несовместимым с алкогольной деградацией. Это и есть самый надежный победитель алкоголизма – захватывающее дело, с которым алкоголизм несовместим. *Деромантизация пьянства*, еще раз с робкой надеждой констатирую я, в значительной степени уже произошла. Мне кажется, пьянством уже не бахвалятся, не принимают его за удаль.

Но если я даже и впадаю здесь в чрезмерный оптимизм, то по отношению к наркотикам таких иллюзий у меня гораздо меньше: их не просто употребляют – их романтизируют, видят в них некую «крутизну», а со стремлением молодежи быть крутой бороться гораздо труднее, чем с пороками понастоящему всеми презираемыми. И вот в этом пункте, на мой взгляд, и таится самое слабое место антинаркотической пропаганды.

Мне случалось (хотя и очень немного) видеть фильмы, изображающие страшные последствия наркотиков (ломки, язвы...). Но ведь если показать медсанбат, картина окажется ничуть не менее устрашающей, и, однако же, романтическая молодежь, несмотря на риск, все равно тянулась и тянется к подвигу. Потому что подвиг – это действительно красиво! И по этой же самой причине нужно показывать, что наркотики – это не просто смертельно опасно, но еще и *омерзительно*.

Убить романтику по силам лишь другой романтике, убить художественный образ по силам лишь другому образу. Но искусство-то как раз меньше всего задействовано в борьбе с наркотической субкультурой...

Обида побежденных

Наша жизнь полна конфликтами, в основе которых – зависть. Вот лишь несколько.

Гражданка Р-ва, живущая в Петербурге, узнав, что дочь ее давней, можно сказать, сердечной подруги удачно вышла замуж – за москвича! – расстроилась. Во-первых, потому, что москвич – владелец трехкомнатной квартиры на Тверской. А во-вторых, потому, что ее собственное незамужнее чадо так и застряло в «провинции», то бишь в Питере. Р-ва представила, как ненавистная теперь дочь ее подруги обживает московские хоромы, и резко, без объяснений прекратила общение с ее мамой. С которой, между прочим, дружила... двадцать лет!

А вот ситуация – из мира науки. Будущий классик чистой математики П-н попросил уже наполовину состоявшегося классика К-ова дать ему проблему для научной работы. К-ов предложил некую задачу из топологии косых произведений, и П-н в течение недели решил ее. «У вас ошибка!» – радостно вскричал уязвленный столь быстрым решением К-ов, едва только П-н начал излагать ему свои выводы. П-н однако легко разбил возражения своего наставника, но тот продолжал ревностно выискивать несоответствия. И нашел: «А вот тут у вас сбой, смотрите!»

Но и эту придирку молодой математик немедленно опро-

верг. И так повторялось много раз, пока К-ов наконец не признал задачу решенной, сокрушенно кивнув: «Проблема оказалась не такой сложной, как я предполагал». Оба участника этой истории – крупнейшие ученые XX века.

А сколько эпизодов – смешных, нелепых, трагических – может привести каждый из читающих эти строчки. Примерно таких: провалившийся на экзамене абитуриент недавно уверял меня, что теперь поступают только за бабки, которых у него не оказалось; довольно известный философ сочинил убедительнейший трактат о том, что вся жизнь есть зло, только потому, что у него лично она не задалась; знакомый журналист рассказал мне, как полгода назад в сельской глубинке соседи подожгли усадьбу преуспевающего фермера. В этом ряду и трагические эпизоды, когда шахиды, ненавидящие тех, кто живет иначе (и лучше!), чем они, приводят в действие свои пояса смертников, истребляя вместе с собственной жизнью *инакоживущих*.

Что общего между всеми ними? И те, и другие, и третьи, и четвертые мстят за поражение. Мстят за униженное самолюбие, за утраченное ощущение первенства, удачливости, принадлежности к избранному народу, за утраченную веру в женскую верность и справедливость мира – и кто-то «опускает» обидчиков (обидчиком может сделаться и все мироустройство) только в собственном воображении, тем или иным способом обесценивая их победу, а кто-то готов истребить их и физически, хотя бы и ценой собственной

жизни.

Обида побежденных – вот источник всякой зависти, переходящей в ненависть, и всех философских и социальных теорий, оправдывающих эту ненависть. Отвергнуть мир, отвергающий то, что тебе дорого, – что может быть естественнее?

Когда эту ненависть испытываем мы сами или симпатичные нам люди, мы называем ее жаждой справедливости, в людях несимпатичных мы называем ее завистью, но суть от этого не меняется – речь идет о жажде реванша. Правда, когда мы оскорблены и стремимся к компенсации не для себя лично, а для своей социальной группы, это чувство в большей степени заслуживает высокого имени Справедливость.

И тем не менее *коллективный реваншизм* является причиной несравненно более ужасающих бедствий, чем зависть индивидуальная. Поэтому, создав мир, где нет побежденных, мы уничтожили бы и все мировое зло. Ибо проигравшие всегда будут питать неприязнь к победителям и сочинять для самооправдания утешительные сказки насчет того, что проиграли они исключительно из-за своей честности и великодушия, а их враги взяли верх только подлостью и бессердечием. Побежденные всегда будут восхвалять себя и клеветать на своих обидчиков, если даже в качестве обидчика выступит целая цивилизация.

Но ведь побежденных нет только там, где нет борьбы,

нет соперничества. А соперничество, конкуренция и порождаемая ими зависть могут быть изгнаны из жизни лишь вместе с самой жизнью.

Большевики изгнали конкуренцию из экономики – и люди начали ненавидеть друг друга за место в очереди или в коммунальной кухне, за должности, за привилегии... И все это безо всякой пользы для человечества. Тогда как *конкуренция и порождаемая ею зависть не только источник взаимного раздражения, но также источник прогресса*, могучий стимул всяческих усовершенствований!

Пушкин когда-то заметил, что **зависть – сестра соревнования**, а стало быть, дама хорошего рода, но я бы назвал зависть не сестрой, а скорее **дочерью соревнования**. Ибо всякое состязание рождает двух дочерей – Радость и Зависть. И первой, цветущей веселой красавицей, наслаждается лишь горстка счастливых, а второй, уродливой злобной горемыкой, приходится утешаться всем остальным (надеюсь, этот образ не покажется излишне смелым, если не понимать его чересчур буквально). Поскольку абсолютно в каждом состязании подавляющее большинство участников оказываются побежденными – на пьедестале почета могут разместиться лишь немногие, иначе победа потеряет всякую ценность. Каждое состязание порождает горстку победителей и толпу неудачников.

Но почему тогда неудачниками, лузерами себя ощущают, слава те, господи, далеко не все? Скорее даже меньшин-

ство. Да потому, что разновидностей состязания чрезвычайно много: проиграешь в одном – выиграешь в другом, которое при желании и можно признать самым главным. Бегун не завидует штангисту, а штангист шахматисту, но каждый имеет полную возможность поглядывать на остальных свысока: я самый быстрый, я самый сильный, я самый умный... Каждый уверенно стоит на собственном пьедестале почета.

Но ведь и в социальной жизни пьедесталов почета огромное множество! Домохозяйка может тешить себя тем, что у нее самые ухоженные дети, сельский житель – что дышит самым чистым воздухом, рабочий – что может спать спокойно, не беспокоясь о происках конкурентов, – и так далее, и так далее. В принципе каждой социальной группе необходима собственная субкультура, собственный пьедестал почета, у подножия которого даже проигравшие могли бы чувствовать, что по сравнению с остальным миром они все-таки удачники, все равно они или быстрее, или сильнее, или умнее всех за пределами своей избранной группы. Для этого-то субкультуры и создаются – для самовозвеличивания и самоутешения.

И рождаются они естественным порядком, без специальной организации, ибо заниматься самоутешением дело для человека более чем естественное. Он и выжил-то исключительно потому, что от начала времен скрывал от себя собственную мимолетность и бессилие всевозможными иллю-

зиями, начиная от самых наивных сказок и магических ритуалов и заканчивая изощреннейшими философскими системами и великими шедеврами искусства.

Первейшая функция нашей психики – самооборона. Поэтому человеческая фантазия рождает утешительные субкультуры так же произвольно, как слизистая оболочка желудка выделяет желудочный сок, – в самых простодушных народных сказках барин всегда оказывается идиотом, а мужик молодцом. И все, что требуется для того, чтобы утешительные образы сделались коллективными, охватили всю социальную группу, – это возможность делиться ими более или менее широкоохватно, а не только частным образом. Грубо говоря, каждой социальной группе необходимы собственные творцы утешительных грез – собственная литература, собственное кино, собственное телевидение...

Но предоставляет ли сегодняшняя жизнь что-либо хоть отдаленно напоминающее эту картину? Нет, она действует ровно противоположным образом. Шкала успеха чудовищным образом упрощена, унифицирована. **Прибыль сделалась почти единственным критерием успеха.** Критерием, обрекающим, как и любой монокритерий, подавляющее большинство людей на ощущение жизненной неудачи: если ранжировать человечество по любому монокритерию, подчеркиваю – по любому: по росту, весу, щедрости, красоте, известности, умению вычислять или играть на скрипке, – все равно половина сразу же окажется ниже среднего. Вместо

того чтобы максимально увеличивать число пьедесталов почета, средства массовой информации, напротив, сосредотачиваются на одном-двух наиболее примитивных – **деньги и популярность** (обычно, впрочем, тоже конвертируемая в деньги).

Рассмотрим всю окружающую нас символическую продукцию от телесериалов до уличной рекламы – много ли вы найдете «месседжей», сигнализирующих обычному человеку: «Ты счастливчик, тебе выпала удача родиться именно в своем регионе, обрести именно свою профессию, жениться именно на своей возлюбленной»? Напротив, большей частью она делает все, чтобы разрушить все локальные воодушевляющие субкультуры, создавая впечатление, что *счастье можно обрести лишь на микроскопическом столичном пяточке, и тем самым наводняя страну массами неудачников. А следовательно, и завистников.*

Когда я в своей повести «Исповедь еврея» изобразил нищий шахтерский поселок как некий Эдем, это была не только ирония: в каждом таком Эдеме был свой силач, свой мудрец, свой богач – никто не состязался со Шварценеггером, Бором или Биллом Гейтсом.

Ностальгия по Советскому Союзу связана вовсе не с тоской по равенству, а скорее с тоской по избранности, ибо глобализация, унификация ценностей разрушила и продолжает разрушать множество уютных субкультур (национальных,

профессиональных, региональных...), внутри которых люди могли ощущать себя удачниками.

А между тем надо понимать, что от мести униженных и оскорбленных защититься невозможно: даже те из них, кто не решится или побрезгует мстить победителям материально, неизбежно станут отвергать, обесценивать отвергнувший их социальный мир. И ничто не помешает им изобразить этот мир мерзким и несправедливым; сделавшись же таковым в глазах большинства, он неизбежно окажется обреченным на упадок, а в конце концов и на гибель. Дураков чем-то жертвовать ради его защиты больше не останется.

Сегодня мы много говорим об укреплении государства, долженствующего заботиться прежде всего о тех коллективных наследственных ценностях, которые не входят в круг приоритетных интересов индивида, – территория, природа, культура, демография...

Но воображаемая картина мира, в которой большинство населения чувствовало бы себя уютно, ничуть не менее важное общественное достояние, чем чистая вода и чистый воздух. Чтобы государство начало оказывать поддержку тем, кто, сам обладая психологически комфортабельной для своей социальной группы картиной мира, получил бы возможность делиться ею с другими, – это греза, конечно, совершенно несбыточная. Если бы оно хотя бы перестало поддерживать разрушителей – уже и это было бы необыкновенно мудрым государственным решением.

Недоучки и джентльмены

В просвещенном обществе необходимость героев и героизма ставится под сомнение так давно, что даже образованные люди, случается, принимают за поговорку цитату из брехтовской «Жизни Галилея»: «Несчастлива та страна, которая нуждается в героях».

Что естественно: если советская власть превозносила героизм, значит, мы должны его опускать – герои-де постоянно прикрывают бардак, глупости и преступления власти. Если, скажем, какой-то парень спасает девочку из кипятка, надо прежде всего вспомнить, что в цивилизованных странах таких аварий не бывает. А если кто-то геройски погибает на войне, надо напомнить, что у хороших генералов солдат не убивают. И к тому же умные политики вообще не доводят дело до войны: ведь войны выдумала советская власть, до нее люди никогда не воевали.

Разве что в варварские времена. А в XX веке войны затевают только фанатики-недоучки, образованные же джентльмены, управляющие цивилизованными странами, все решают за столом переговоров. И если фанатикам-недоучкам все-таки удастся втянуть джентльменов в войну, те берегут своих солдат и уж никак не воспевают такую варварскую доблесть, как самопожертвование. Совсем недавно «страна-изгой» взяла в плен военное судно цивилизованной державы

без единого выстрела, и пленники, освобожденные путем переговоров, были встречены как герои (герои все-таки нужны для телешоу). А вот за полтора года до того, в ту пору, когда упомянутая держава, звавшаяся владычицей морей, оказалась в состоянии войны с Россией, российские офицеры на фрегате «Паллада», понимавшие, что им не уйти от более быстроходных английских судов, постановили в случае столкновения сцепиться с английским кораблем и взорвать свой пороховой погреб.

А казались воспитанными людьми... Нет, варвара не переделать в джентльмена! Вот и почти через сто лет, когда практически вся цивилизованная Европа работала на Гитлера, сохраняя свое население и достояние, да еще и создавая новые рабочие места, Россия варварски взрывала собственные заводы, сжигала собственные поля, а уж кто тогда думал о людях, если их не щадили и в мирное время!

Сталинские репрессии и сегодня повергают в недоумение своей нелепой избыточностью. Что это – фанатизм, садизм, паранойя? Ведь на любой работе приходится что-то выбирать, с кем-то ссориться, но уволили и забыли, убивать-то зачем?

А зачем в военное время расстреливают солдата, оставившего свой пост, если в мирное время его лишь сажают на губу? Почему в мирное время за неуплату налога штрафуют, а в военное за сопротивление реквизиции вешают на воротах? Да потому, что на войне у каждого стоит на кону соб-

ственная жизнь. Свирепость расправ – плата за страх. Я не хочу сказать, что это правильно, но это естественно. Было бы слишком утешительно все списывать на то, что Сталин и Гитлер были чудовищами, – чудовищ рождает любая достаточна продолжительная и жестокая война. Они оба были выдвинуты и правили во время войны.

И это была никакая не идейная или гражданская, это была единственная Тридцатилетняя мировая война с двадцатилетней передышкой, когда все стороны лихорадочно нащупывали вождей, с которыми был наибольший шанс выстоять, а лучше победить. На карте стояли не правый или левый уклон, а жизнь и смерть целой армии, собравшей самых храбрых и честолюбивых, для кого поражение сделалось бы изгнанием из Истории, сладость участия в которой они только успели вкусить. После 18-го джентльмены показали недочкам, что будет с побежденными (немцы и поляки побывали в Киеве, японцы – во Владивостоке), – те и сплотились вокруг самых последовательных...

Я отнюдь не подвожу к какой-нибудь пошлости типа: с меньшими жертвами выстоять было нельзя – еще как можно. Но страх, рождающий безумие и у тех, кто его творит, и у тех, кто его оценивает, никогда не считается со «щепками».

Искать причины сталинских ужасов у нас означает оправдывать сталинизм: зло должно порождаться самим собой. Но я рискну утверждать, что «жертвы культа» были в том числе и жертвами Тридцатилетней войны, учиненной джентль-

менами с дипломами самых сверхпонтowych университетов в кармане смокингов. И если в эпоху, когда рыцарская честь осмеяна, льются еще невиданные реки крови, то ради какой такой Гекубы, что стоит на карте? Если отбросить всякий мусор типа рынков и ресурсов, из-за которых ни один безумец не пойдет на смерть, придется признать, что борьба шла за право править историей.

И неужели же кто-то может думать, что эта борьба закончена, что три четверти или четыре пятых мира согласятся навеки отказаться от права оставить и свой след в веках, отказаться от главной доступной смертному иллюзии бессмертия? Тем более что джентльмены хорошо потрудились, чтобы сделать «открытыми», то есть осознавшими свою историческую второсортность, все общества в мире. И трудно представить, как мир джентльменов будет противостоять тамошним героям, не возрождая культ героизма...

В будущих войнах, объявленных и необъявленных, хуже всех придется тем странам, которые недостаточно цивилизованы, чтобы исчезнуть без скандала, и слишком велики, чтобы спрятаться за чужие спины.

Но кто знает, возможно, случится чудо, и воинская доблесть, готовность к жертвам цивилизованному миру больше не понадобится. И все равно та страна, которая перестанет нуждаться в героях – героях науки, техники, спорта, – обречена на гибель.

От скуки. Советский Союз ведь и убила прежде всего ску-

ка.

И. Грозный как литературный прототип

За четыреста с лишним лет можно забыть кого угодно, но Ивана Грозного народ забыл гораздо раньше. Перечитаем «Вступление к Былевым песням» Петра Васильевича Киреевского: «В песнях об Иоанне Грозном народ сохранил воспоминание только о светлой стороне его характера. Он поет о славном завоевании Казани и Астрахани; о православном царе, которому преклонились все орды татарские; об его любви к Русскому народу и его радости, когда Русской удалец, на его свадебном пиру, поборол его гордого шурина, Черкасского князя; но не помнит ни об его опричниках, ни об других его темных делах. Такая память народа, во всяком случае, заслуживает полное внимание историков».

И не только историков: любовь народа к своим тиранам или как минимум нежелание отнестись к ним критически раздражает гуманистическую мысль от Грозного до наших дней. Еще школьниками многие из нас читали диалог в бессмертном «Одном дне Ивана Денисовича»:

«"Иоанн Грозный" – разве это не гениально? Пляска опричников с личиной! Сцена в соборе!» – «Кривлянье! Так много искусства, что уже и не искусство. Перец и мак вместо хлеба насущного! И потом же гнуснейшая политическая

идея – оправдание единоличной тирании. Глумление над памятью трех поколений русской интеллигенции!» – «Но какую трактовку пропустили бы иначе?..» – «Ах, пропустили бы?! Так не говорите, что гений! Скажите, что подхалим, заказ собачий выполнял. Гении не подгоняют трактовку под вкус тиранов!»

Но Михаил-то Юрьевич Лермонтов был бесспорный гений и уж никак не выполнял ничьего заказа, а до чего величественным выписан грозный царь Иван Васильевич в его «Песне про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова»!

Ну хорошо, юный Мишель следовал законам эпического жанра. А что заставляло благороднейшего Алексея Константиновича Толстого в как бы даже и реалистическом «Князе Серебряном» изображать Ивана Грозного жестоким, но величественным владыкой, а не мелким грязным садистом? С пятого класса помню, каким высоким слогом обращались к нему призраки казненных бояр: здрав буди, Иване, се кланяемся тебе, иже погубил нас безвинно...

А у Булгакова Иван Васильевич наделен неким даже почти трогательным простодушием: «Увы мне, грешному!.. Горе мне, окаянному!..» А это ведь подлинная цитата из Послания в Кирилло-Белозерский монастырь – из того послания, где великий государь, царь и великий князь всея Руси именует себя псом смердящим, обретающимся вечно среди пьянства, блуда, прелюбодеяния, скверны, убийств, гра-

бежей, хищений и ненависти, но при этом надеется найти Божью узду для своего невоздержания в иночестве. А потому заранее сетует на упадок строгости в монастырских нравах: дашь ведь волю царю – надо и псарю; дашь послабление вельможе – надо и простому. «А ныне у вас Шереметев сидит в келье словно царь, а Хабаров и другие чернецы к нему приходят и едят и пьют словно в миру. А Шереметев, не то со свадьбы, не то с родин, рассылает по кельям пастилу, коврижки и иные пряные и искусные яства, а за монастырем у него двор, а в нем на год всяких запасов».

Дипломатическая переписка Грозного тоже просится в какую-то умилительную комедию: «А до сих пор, сколько ни приходило грамот, хотя бы у одной была одинаковая печать!» – пеняет он английской королеве Елизавете. «Мы думали, что ты в своем государстве государыня и сама владеешь и заботишься о своей государевой чести и выгодах для государства, – поэтому мы и затеяли с тобой эти переговоры. Но, видно, у тебя, помимо тебя, другие люди владеют, и не только люди, а мужики торговые, и не заботятся о наших государских головах и о чести, и о выгодах для страны, а ищут торговой прибыли» – прямо-таки первое столкновение либерализма и государственничества! «Ты же пребываешь в своем девическом звании как всякая простая девица» – в оригинале «пошлая».

Примерно в это же время один из подданных этой пошлой девицы, Уильям Шекспир, канонизировал манеру изоб-

ражать исторических злодеев могучими, а потому обаятельными. Ибо история, какой она только и может существовать в культурной памяти народа, не наука, но художественное произведение. Карамзин тоже прекрасно это понимал: «История в некотором смысле есть священная книга народов, главная, необходимая; зеркало их бытия и деятельности, скрижаль откровений и правил; завет предков к потомству, дополнение, изъяснение настоящего и пример будущего». «Вымыслы правятся (исправляются), – соглашался он, – но для полного удовольствия должно обманывать себя и думать, что они истина».

Однако насчет иоанновых потех он обмануть себя не сумел – эти ужасы не вписывались в поэтику сентиментализма. Но в сегодняшнюю культурную память чернейший царский юмор, пожалуй, уже можно было бы ввести: привязывать жертвы к саням и загонять лошадей в воду, жарить «изменников» в муке, словно карасей, кликать среди пира добровольных палачей: «Ну, кто мне разрежет этого гуся?» – в этом есть какой-то чудовищный, но все же размах. А народная память, равно как и всякая память культурная, **романтична**. Она легко примет ужасное, переведя его в разряд величественного, но отторгнет мелкое и унижительное. Даже в сегодняшнюю национальную культуру вряд ли удастся загнать образ Грозного-маньяка, хотя есть немало свидетельств, что он выходил из пыточных застенков раздумавшимся и повеселевшим. И наверняка не задержится в куль-

турной памяти та пытка с эротическим оттенком, которой он подвергал женщин-ЧСИР (членов семьи изменников родины): таскать их взад-вперед в обнаженном виде, усадив верхом на жесткий канат.

Жертва умирала в страшных муках, а удали, юмора здесь невозможно высмотреть даже сквозь самую снисходительную лупу. А значит, им и не задержаться в национальной культуре. Ибо назначение любой культуры – преобразовать мерзкое и унижительное в трагическое, то есть ужасное, но все-таки высокое. Видеть своего правителя, оставившего несмываемый след в истории, грязным и мелким садистом, означает для каждого народа испоганить свою священную книгу. И ни один народ на это не пойдет, сколько бы его ни упрекали те, чей собственный возвышенный образ питается какими-то другими вымыслами (жестокой же и мерзостной правдой о себе не живет никто).

Потому останутся тщетными и все наши попытки пигментизировать образ Сталина, сколь бы чудовищными ни были его злодеяния. Этого не позволит сделать вовсе не рабский дух народа, но дух романтический. Да и память о сталинских жертвах тоже оскверняется этим снижением жанра, для которого гибельны не ужасы, но пошлость. Это прекрасно чувствовал такой романтик, как Пастернак: прежде нами правил безумец и убийца, а теперь дурак и свинья. Подобные критерии вроде бы невыгодны были для него самого, но ведь поэт не ищет выгод!

А всякий народ – поэт.

Где митинги в защиту гениев?

Когда после нашумевших выборов еще за неделю до того политически неозабоченные люди вышли на митинги, мой первый вопрос был: а где они были раньше? Почему целые годы молчали? Почему их не выводила из терпения наглая коррупция, оскучение газетных полос, опошление телеэкранов и прочая, и прочая, и прочая? Мешали стеснения свободы слова? Бросьте – у людей всегда есть возможность вести подрывную словесную деятельность посредством кухонных разговоров, анекдотов, слухов, сплетен, а уж возможности «протаскивать идейки» в художественной литературе сегодня поистине безграничны, однако лишь очень немногие культурные писатели работают в жанре так называемого критического реализма. А ведь именно словом и мнением, да, мнением народным была если не свергнута, то «опущена» советская власть. И опускали мы ее не корысти ради (не так уж плохо нам жилось), а токмо волею ущемленного достоинства: мы перестали себе нравиться в декорациях советской власти, а потому возжелали их переменить. В последнее же десятилетие я не замечал ни намека на «революцию языков» ни в застолье, ни в литературе – нигде не просвечивало никакой новой грезы, новой сказки, из коих только и рождаются политические движения.

А значит, у поствыборных митингов причины были не по-

литические, а психологические или даже эстетические: люди вышли защищать не образ будущего своей страны (такого образа ни у кого из них не было и нет), а красивый образ самих себя, стараясь отмыться от понесенного унижения. Практического результата от перевыборов вряд ли кто-то серьезно ждал, если бы даже каким-то чудом у партии Сидорова отняли десять-двадцать-тридцать-сорок мандатов в пользу партии Петрова, поскольку как Сидоров, так и Петров люди с полной очевидностью ординарные, а чтобы бросить вызов сложившемуся равновесию, нужно быть очень храбрым человеком с командой таких же смельчаков.

Ведь вступить в реальный бой хоть с той же коррупцией означает покуситься не на такие мало кого колышущие фантомы, вроде Справедливости, Конституции и т. п., но на самые что ни на есть шкурные интересы наиболее сильной, умной и организованной корпорации – из такой борьбы есть очень много шансов не просто выйти побежденным, но и вообще не выйти живым. Творец южнокорейского чуда генерал Пак Чонхи пережил несколько покушений, а последнего так даже и не пережил.

Однако значит ли это, что наше дело безнадежно? И красоты нам не видать, как своего отражения в железобетонном зеркале? Это было бы именно так, если бы красота создавалась исключительно чистотой.

Расписывая (и совершенно справедливо) коррупцию как опаснейшее социальное зло, обычно говорят о том ущербе,

который она наносит экономике. Но не случайно, я думаю, слово «коррупция» переводится не как ущерб, а как порча. *Главный ущерб коррупция наносит не экономике, а идеальному образу страны, красоте ее облика.* А следовательно, и красоте нашего облика, какими мы себя хотим видеть хотя бы в собственном воображении: трудно чувствовать красивым себя, будучи связанным судьбою с некрасивым отечеством.

Однако и любить отечество, гордиться им, считать его прекрасным только за то, что в нем низок уровень коррупции, невозможно. Мы восхищаемся и людьми, и народами, и государствами не за их чистоплотность, а за их свершения, за позитивное, а не за отсутствие негативного. И меня тревожит то, что за борьбой – точнее, за разговорами о борьбе со всевозможными национальными пороками – мы почти забыли о приумножении национальных достоинств.

«Что делают в России? Крадут». Россия золотого века, века Пушкина, Толстого, Достоевского, Чехова, Блока была классически коррумпированной страной. Но эта язва только мелькала где-то на периферии их творчества, у них были цели поважнее – кажется, только в такой многофигурной панораме, как «Анна Каренина», имеется сценка, в которой Стива Облонский устраивается в некую железнодорожную фирму на несообразно высокое жалованье. И все-таки их век, век наших гениев, их творения остаются и поныне самым главным, чем мы гордимся и благодаря чему ощущаем себя

единым народом. В центре нашего (и всемирного!) образа русского золотого века остаются и останутся его достижения, а не его махинации.

Можно, стало быть, сделаться великой страной, великим народом и при высоком уровне коррупции!

А что оставим потомкам мы? В чем наши более важные цели? Каковы будут великие достижения, по которым нас запомнят?

Все-таки векам остается здание, а не чистота...

И хотя наводить чистоту в доме чрезвычайно важно, это все же не может заменить возведения блистательной кровли – исторических свершений, поражающих воображение потомков: кровельщики важнее, чем дворники. Но об этом мы совершенно забыли, лихорадочно обустроивая дом без крыши, защищающей нас от ощущения исторической ничтожности. Разве что иногда мы отвлекаемся посмеяться над понятием национальной идеи: живут же, мол, все приличные народы безо всяких идей, а грязи (коррупции), между прочим, у них изрядно поменьше, чем у нас. Хотя еще большой вопрос, живут они или доживают, большой вопрос, что заставит их приносить серьезные жертвы, если, избави бог, на них навалится какое-то серьезное испытание.

А вот на нас оно уже навалилось. И потому нам остро необходимо видеть в своей стране источник не просто удобств и чистоты, но источник высоких переживаний, питающих нашу связь с вечностью, которых одна лишь чистота

и порядок породить не могут.

Однако, как я уже не раз повторял (не слыша сколько-нибудь заметного отзыва), восхищать, поражать воображение своих граждан великими свершениями государство не сумеет без возрождения национальной аристократии, без творцов и служителей наследственных («бессмертных») мечтаний. Именно аристократы духа, настроенные на служение бессмертному, творят великие дела, порождая и в остальных чувство собственной неординарности, собственной долговечности. Весь комплекс устремлений аристократического слоя и оказывается той самой национальной идеей, которая не декларируется, но осуществляется. И важнейшей составляющей нашей национальной идеи всегда было производство гениев.

Прогрессивная печать немало и во многом даже справедливо потешалась над склонностью советской власти создавать коров-рекордисток, быков-рекордистов, однако в мире людей это было бы жизненно необходимой политикой. Я имею в виду всемерное расширение – особенно в провинции – сети школ для наиболее одаренных и наиболее романтических в науке, искусстве, военном деле, спорте...

Ставка на самых одаренных должна сделаться первым лозунгом дня, а борьба с коррупцией только вторым.

Мне случилось побеседовать с тройкой активистов, по доброй воле отправившихся на избирательные участки в качестве наблюдателей, и впечатления они оттуда вынесли ско-

рее бардака и базарного хамства, чем продуманного политического цинизма. И все, чего они желали бы от власти, это сигнала ее низовым агентам: орудуй того, потише. Людей сильнее ранит грубый отъем пятисотрублевых китайских часов (грабеж), чем деликатное хищение десяти тысяч из кармана (кража). И если бы они решились открыто выразить свои чувства в виде лозунга, они бы вышли на митинг с призывом перейти от грабежей к кражам.

Но, кажется, еще никому не приходило в голову выйти на митинг за то, чтобы Коле и Маше из Новоурюпинска и Ленинохренска был открыт путь к развитию и реализации их дарований. Чтобы мы могли сказать, как это было в эпоху Пушкина и Толстого: да, мы живем не очень чисто, но зато поставляем миру гениев.

И вот Дума уже работает и гремит, но интересы особо одаренных мальчишек и девчонок в ней никак не представлены. Может быть, помимо всех демократических, нам пора обзавестись еще и Аристократической партией?

Анна и Нора, Марфа и Мария

Ибсеновскую Нору и толстовскую Анну породила одна и та же социальная греза – мечта о равенстве женщины и мужчины. Только наш матерый человечище считал эту утопию опасной вовсе не из-за того, что женщина не может заменить мужчину, но из-за того, что мужчина не может заменить женщину. Величайший консерватор всех времен и народов постарался показать, что, покинув классическую, признанную миром семью, женщина не только не приобретает счастья, но и теряет материнские чувства к рожденному в любви ребенку, старается влюбить в себя каждого встречного мужчину, а ее возросший интерес к серьезному чтению не более чем попытка заглушить тоску по утраченному раю.

Ибсен же покидает свою героиню как раз в тот миг, когда она оставляет этот рай, внезапно воспринятый ею как «кукольный дом»: она была всего лишь «любимой куколкой» мужа, она хочет «набраться опыта», «стать человеком» – только тогда она что-то сможет дать своим будущим детям. Гордая Нора нашла немало подражательниц, драма «Кукольный дом» оказала заметное влияние на феминистическое движение, и все же дозволительно усомниться, можно ли «стать человеком» за пределами семьи – единственного коллектива, где люди стремятся не получать, но отдавать.

Решусь утверждать, что никакого неразрешимого кон-

фликта между семейным и «общественным» долгом нет: сотни тысяч, если не миллионы российских женщин сумели и набраться опыта, и стать людьми, не сбрасывая никаких традиционных обязанностей. Они умеют и работать, и зарабатывать, но в любимых куколок превращаются лишь в редкие часы беспечности – в остальное время они надежные друзья и соратники своих мужчин, если даже те не слишком этого достойны. Они гениально сочетают в себе хлопотливую Марфу и возвышенную Марию: в театрах, в музеях, в библиотеках – всюду они. Они поразительно сочетают мудрость и детское простодушие («будьте как дети»), робость, основанную на отвращении ко всему грубому и безобразному, и героизм, они могут бояться мышей и войти в горящую избу.

Часто сетуют, что женщины слабо присутствуют в политике: как было бы хорошо для детей, если бы их мамы набрались политического опыта – научились улыбаться, держа камень за пазухой, спокойно перешагивали через вчерашних друзей, давали уверенные обещания, ни мгновения не предполагая их выполнить...

А ведь политическая жизнь без этого невозможна, те, кто не станет следовать этим правилам, погубят свое дело...

Короче говоря, в женском вопросе я тоже консерватор – я не хочу, чтобы женщины сравнивались с мужчинами, я хочу, чтобы они оставались лучше нас, порождая в нас желание бороться за их расположение, защищать их, прощать и делиться с ними последним куском. Не будет настоящих жен-

щин – не будет и настоящих мужчин, они порождают друг друга.

Прогресс последних десятилетий слишком часто уничтожал лучшее и сохранял худшее, но пока у нас есть главное наше национальное достояние – наши женщины, – Россия не погибнет. Какое бы свинство ни навязывал им большой мир, свое гнездышко они будут устраивать по законам чистоты и доброты, и их детей, с пеленок усвоивших эти законы, будет нелегко расчеловечить даже российскому телевидению.

Я готов повторять снова и снова, что считаю интеллигентную российскую женщину одним из высших достижений мировой цивилизации и надеюсь, что даже Лев Николаевич простил бы ей избыточную тягу к культуре и склонность к брючным костюмам, к «неприлично обтягивающей одежде» – по-моему, она им очень к лицу и ко всем прочим частям тела.

Нищие духом, полагающие главным человеческим стремлением не мечту о красоте и бессмертии, а жажду комфорта, уверяют нас, что когда-де от семьи не будет материальной пользы, она и скончается. И люди утратят последнюю ячейку, где их ценят не в обмен за услуги, а просто так. Чего нам в глубине души хочется больше всего на свете.

И главная сила, хранящая этот уголок бескорыстного тепла, – женщина. Пока мы ее бережем, она тоже будет беречь нас.

Кто следующий?

Любой конфликт люди благородные стремятся прекратить, а люди циничные – использовать в своих целях. Но конфликт израильтян с палестинцами тянется так долго, что уже надоел и тем и другим. Этим других раздражает, что их арабские братья никак не могут покончить с такой мелочью, как израильская военщина, чтобы наконец всерьез приняться за ее заокеанских хозяев – сделав тем самым решительный шаг к мировой войне. И что же мешает – тоже сущая ерунда: еврейское лобби в конгрессе США, не позволяющее предоставить Израиль его собственной судьбе.

Хотелось бы поверить, чтобы еврейское меньшинство оказалось способно на такое чудо – подчинить могучее «белопротестантское» большинство Америки своим мизерным национальным интересам. Однако поверить в это трудно: когда жизнь европейского еврейства по-настоящему висела на волоске, это большинство не выказало ни малейшей зависимости от погибающих. После 1933 года, когда евреям в Германии уже не просто чинили неприятности, а прямо убивали, Американский легион и Союз ветеранов (пара миллионов членов, включая чуть ли не треть конгресса) требовали полного запрета на въезд беженцев, а их желание закрыть страну разделяли примерно две трети рядовых граждан. Этим мнением, да, мнением народным за время вой-

ны даже весьма нещедрая квота в двести с лишним тысяч душ была реализована лишь на десятую часть. По некоторым опросам, больше половины американцев считали, что евреи в США забрали слишком много власти, и даже «Новый курс» Рузвельта называли «Еврейским курсом» (New Deal – Jew Deal); правда, лишь треть этой половины готова была на деле принять участие в антиеврейской кампании, тогда как остальные соглашались только отнестись к этому с пониманием.

Сегодня же дети и внуки этого большинства с какой-то радости вдруг согласились плясать под еврейскую дудку вопреки тому, что всякое национальное меньшинство, слишком усердно отстаивающее интересы иного государства, теряет в глазах большинства всякое влияние. Но, повторяю, хорошо, если бы это чудо стало реальностью, поскольку серьезных людей гораздо больше пугают собственные мессианские настроения американских консервативных лидеров, их слишком уж буквалистическое отношение к «проекту Просвещения» – проекту создания единой цивилизации либерального образца. И если эта великая химера всерьез столкнется с исламской всемирной химерой, то сегодняшний мир, искрящийся локальными конфликтами, покажется совершенной идиллией.

Однако благородных людей, не догадывающихся, что эти локальные конфликты – столкновения периферий мира рациональности и мира пламенных грез – предотвращают

столкновения ядер этих миров, – благородных людей раздражает невозможность безоговорочно стать на чью-то сторону, чтобы безмятежно наслаждаться собственным моральным совершенством. Конфликт-то, увы, трагический – в нем у каждой стороны есть своя безупречная правота... Конечно, прогрессивная западная интеллигенция с ее вековым опытом лицемерия старается найти красивый выход из безвыходного положения, твердой ногой стать на какой-то исчерпывающий принцип типа «Слабые всегда правы», но в глубине души и она чувствует, что Израиль, противостоящий огромному исламскому миру, тоже трудно изобразить Голиафом, нависшим над маленьким беспомощным Давидом...

Трагическую неразрешимость арабо-еврейского конфликта прекрасно понимал еще идейный лидер российского сионизма Владимир Жаботинский. Когда первые еврейские «гастарбайтеры» встретили в Палестине не слишком ласковый прием арабского большинства, не желающего превращаться в меньшинство, либеральные сионисты принялись горячо обсуждать, как бы евреям так деликатно себя повести, чтобы пробудить в арабах столь вождедеемую и в сегодняшней России толерантность. И Жаботинский еще тогда со всей отчетливостью ответил: никак. Каждый народ считает свою землю собственным домом и не потерпит никаких других хозяев. Мы не сможем подкупить арабов никакими чечевичными похлебками цивилизации именно потому, что

они народ, а не сброд. А значит, их сможет остановить лишь полная физическая невозможность, «железная стена», и наше дело выстроить эту стену.

Время, однако, показало, неосуществимость этой метафоры: под каждую стену можно сделать подкоп. Люди, готовые не щадить себя, обладают страшной силой: вспомним, как горстка народовольцев без всякой посторонней помощи поставила на уши всю Российскую империю. А палестинцам готовы помогать целые государства. И значит, покуда они стоят и покуда выстаивает Израиль, конфликту не будет конца.

И каждая из сторон будет оставаться безупречно правой с точки зрения собственных национальных интересов. Чем они и могут утешаться и воодушевляться до прихода Мессии.

А вот чем может утешаться Россия? В чем заключается ее безупречная правота? Да в том же, в чем и у всех, – в праве тоже ставить на первое место собственные интересы, – пускай самоотверженная Америка наживает в чужом пиру похмелье, а мы уже сосредоточили на себе достаточно вражды, защищая униженных и оскорбленных по всему земному шару. И потому, прежде чем давать волю сердцу, которому не прикажешь, мы должны хорошенько вдуматься, какое развитие арабо-израильского противостояния пойдет на пользу российской национальной безопасности, а какое во вред. Спокойнее ли сделается наша жизнь, если победит, скажем, Израиль?

Ясно, что вопрос этот совершенно праздный. Победа израильского островка над арабским морем полностью исключена, сколько бы операций «по принуждению к миру» он ни осуществлял: каждая такая операция будет на короткое время ослаблять материальную инфраструктуру террористов и очень надолго усиливать их решимость – их главный стратегический ресурс. И в конце концов победа арабов в долгосрочной перспективе дело вполне возможное. А следовательно, подумать о том, что их победа принесет России, следует вполне серьезно.

Когда одной ближневосточной горячей точкой станет меньше, что приобретет Россия – мирного соседа, с которым приятно вести общие дела, или скрытого агрессора, который станет поддерживать сепаратистские и экстремистские движения внутри России в надежде поставить их на службу панисламистским химерам? Предсказывать поведение любого народа гораздо правильнее не по его декларациям, а по его реальным интересам, и стратегические интересы наиболее пассионарной, романтической части исламского мира, на мой взгляд, радикально расходятся с интересами России, если даже в данный момент ни мы, ни они этого не признаем. Ибо Россия, как ни крути и ни выкручивайся, все равно живет уже не великими грезами, а более или менее реалистичными целями. И, следовательно, принадлежит миру рациональности, самое существование которого являет собою смертоносный соблазн, разрушительный для тех ба-

зовых иллюзий, на которых покоится существование сегодняшних врагов Израиля, – угроза которым не исчезнет и после его исчезновения.

А потому после поглощения этого периферийного островка мира рациональности его враги будут просто вынуждены отдавать высвободившиеся силы борьбе с его ядром. Россия, конечно, не принадлежит к такому ядру, она больше тяготеет к периферии – зато она под рукой. И весьма значительная часть ее населения, принадлежащая мусульманской традиции, не может не возбуждать пропагандистских надежд защитников ислама, проигрывающего цивилизационное состязание все с тем же миром индивидуализма и рациональности. Хочется верить, что эти надежды окажутся тщетными, что Россия проявит себя как настолько уютный многонациональный дом, что ни одна существенная национальная сила внутри него не откликнется ни на какие призывы извне. Верить хочется. Но попыток расколоть Россию по конфессиональному признаку нам не избежать.

И покуда эти жаждущие раскола силы поглощены Израилем, до тех пор у них остается значительно меньше возможностей и особенно желания приняться за Россию, поскольку не следует наживать нового врага, покуда не покончено с предыдущим. Таким образом, Израиль, сам того не желая и, возможно, даже не ведая, сегодня сосредоточивает на себе часть тех сил и appetитов, которые после его исчезновения обернутся против России. А потому Россия заинтересо-

на, чтобы этот форпост рациональности держался как можно дольше, – он защищает нас, за ним наступит наша очередь.

Разумеется, эту заинтересованность не следует проявлять открыто, наживая в чужом пиру похмелье, – солидные господа используют чужие трагедии, для того чтобы продемонстрировать собственную рассудительность и великодушие: с одной стороны, осуждать терроризм, с другой – пенять на чрезмерное применение силы, взывать к разуму, оказывать пострадавшим всех лагерей гуманитарную помощь... Словом, вести себя, как все зрелые цивилизованные державы, расчетливо и лицемерно.

Улица поджигает

Эхо бирюлевского погрома в Петербурге мне пришлось обсуждать по «Эху Москвы» в Петербурге с одним из самых умных либеральных экономистов Дмитрием Травиным. «Визовый режим со Средней Азией ничего не даст, – сказал Травин, – потому что народ больше всего раздражают выходцы с Северного Кавказа, а они российские граждане; и потом, без дешевой рабочей силы цены заметно вырастут, а это народу тоже не понравится». – «Но государство, – возразил я, – не коммерческая корпорация, оно предназначено для сохранения и развития неделимого общего наследия – этак можно было бы продать Сибирь, распродать Эрмитаж и погулять хорошенько годиков тридцать – сорок, а там хоть потоп; да, пара отвязанных джигитов может взбесить целый город, но ни для русской культуры, ни для демографии они никакой опасности не представляют, их слишком мало, демографическую опасность представляют как раз кроткие и трудолюбивые выходцы из Средней Азии, тревога за которых и заставляет меня желать для них предельно строгого визового режима, чтобы они когда-нибудь не сделались козлами отпущения, ибо никакой рост цен не вызывает такой ненависти, как страх национального унижения, поскольку после ослабления религии только принадлежность к нации защищает большинство людей от раздавливающего чувства собствен-

ной мизерности и мимолетности. Что же до дешевой рабочей силы, то она больше развращает наших предпринимателей, позволяя не беспокоиться о модернизации, – мы ведь когда-то проходили, из-за чего пал Древний Рим: неподъемный приток чужеземцев из колоний и рабский труд, допускавший лишь самые примитивные орудия».

«Да, – согласился Травин, – таким и сделается главное партийное разделение в XXI веке: "партия Травина" будет напирать на экономические выгоды иммиграции, а "партия Мелихова" на более высокие и долгосрочные задачи государства – так народ и будет колебаться: отлежав один бок, станет переворачиваться на другой».

Но ведь визовый режим никак не решает проблем с теми мигрантами, которые уже прочно поселились в России? Тут самое время вспомнить уроки империй – нужно управлять национальными меньшинствами руками их собственных элит. Титульные нации всегда раздражает склонность меньшинств к обособлению, к образованию неких квазигосударств в государстве, но иначе и быть не может, ибо меньшинства особенно остро нуждаются в экзистенциальной защите, в причастности к чему-то сильному и долговечному. Зато именно такие общины – лучшее средство держать в узде отморозков.

Разумеется, лишь в том случае, когда их возглавляет по-настоящему авторитетный лидер, а не интеллигентный старичок, выбранный компанией других интеллигентных ста-

ричков. Такому лидеру предоставляются серьезные преимущества в бизнесе, в карьере, но если отморозенные соплеменники выходят у него из-под контроля, он этих преимуществ лишается.

Правда, чтобы назначать и снимать таких лидеров, нужна имперская аристократия, остающаяся неподкупной, поскольку и без того считает государство своей собственностью. А с аристократией у нас дело обстоит неважно. Оппозиция упрекает власть в том, что она превратила государство в свою собственность, но кто же обращается с собственностью так недальновидно, как будто вовсе не думает о наследниках?

А между тем улица уже начинает поджимать, по Интернету уже гуляют компактные отряды молодых людей, которые трясут рыночных и уличных торговцев: требуют каких-то бумаг, которые те предъявить не могут, опрокидывают лотки... И возглавляет их не шпана, а молодые мужчины с правильной речью, умеющие уверенно разговаривать с начальством и ссылаться на законодательство. Такой ли мы хотим видеть нашу национальную аристократию? И таких ли преемников желает наша нынешняя власть?

Ведь уличные вожди не склонны тонко различать правых и виноватых, фашизм – инстинкт самосохранения народа, грубый и неразборчивый, как все инстинкты.

Самозащита без оружия, или новое изгнание из Эдема

Любовь свинопаса

Эту книжку – брошюру, в сущности, – необходимо пере-сказать подробнее, ибо при своем солидном тираже 100 (сто) экземпляров до Москвы она еще доедет, тем более что вы-пустившее ее в 2013 году издательство «Время» в Москве и располагаетя, но до Казани вполне может и не доехать.

Название на обложке принадлежит, вероятно, составите-лю Илье Васильеву: «Александр Печерский: прорыв в бес-смертие». Сам же автор назвал свой прорыв скромнее: «Вос-поминания». Хотя начинаются они почти ритмической про-зой: «Семеро нас теперь, семеро нас собралось на советской земле: Аркадий Вайспапир, Шимон Розенфельд, Хаим Лит-виновский, Алексей Вайцен, Наум Плотницкий, Борис Таба-ринский и я – Александр Печерский. Семеро из сотен штур-мовавших 14 октября 1943 года заграждения страшного гит-леровского лагеря истребления на глухом польском полу-станке Собибор.

Здесь пойдет рассказ о безграничных человеческих стра-даниях и о безграничном человеческом мужестве».

Однако, словно почуяв, что имена Вайспапир и Розенфельд плохо вяжутся с эпическим слогом, автор тут же переходит в самый скромный регистр: «Сперва немного о себе».

Александр Аронович Печерский родился в 1909-м в Кременчуге, окончил семилетку и музыкальную школу в Ростове, работал «служащим», в день нападения «гитлеровской Германии»... Не просто, заметьте, Германии, но «гитлеровской», и лагерь был не просто немецким, но гитлеровским, как и у нас лагеря были не советские, но исключительно сталинские, а еще лучше бериевские: коллективную вину удобнее всего сосредоточивать на уже отработанных фигурах.

В общем, мирный совслуж был мобилизован, аттестован интендантом второго ранга, работал в штабе батальона, затем в штабе полка, после «бесперывных боев с напиряющими полчищами немецко-фашистских армий», после череды окружений, прорывов и новых окружений в начале октября после тяжелых боев под Вязьмой «попал в лапы гитлеровцев».

В плену заболел сыпным тифом, за что полагался расстрел, чудом сумел скрыть болезнь, в мае 42-го пытался бежать, но был пойман и отправлен в штрафную команду, где на медосмотре наконец-то было обнаружено, что он еврей, после чего его отправили под Минск в «лесной лагерь», а там бросили в «еврейский подвал».

Кромешная тьма; лишь на пятый-шестой день, когда больше половины народа вынесли ногами вперед, удалось при-

лечь на пару часов на голой сырой земле. Но когда охранник предложил: «Хватит вам мучиться, давите друг друга», – ин-тендант второго ранга бросил ему: «Не дождетесь». А затем в непроглядной тьме принялся рассказывать истории, как он когда-то чуть не сгорел, чуть не утонул, чуть не разбился, но в последний миг что-то его спасло. Темнота немного про-светлела – «пошли рассказы о всяких неслыханных случаях, посыпались и перченые анекдоты».

А в трудовом лагере Сашко Печерский записался столя-ром и попал в одну из мастерских для обслуживания на-чальства (на будничные ужасы отвлекаться не буду). Начал примериваться к побегу и вскоре узнал, что совсем недавно здесь расстреляли группу в сорок человек за побег двоих. Но тут еврейских «специалистов» отправили в Собибор.

«Вдруг мы почувствовали, что стало трудно дышать. Бо-лее чем на полкилометра расстилался густой черный дым. В воздухе появились языки пламени, поднялся страшный шум. Гоготали сотни гусей».

Затеи сельской простоты – так изобретательные немцы за-глушали вопли тех, кто подвергался «особому обращению».

Ну про то, как еще живых людей заранее обливали хлор-кой, про раздробленные черепа младенцев, про куски мя-са, вырываемые собаками, про дубинки и розги по любому поводу и без, – подобную рутину можно пропустить. Впро-чем, случались и эксцессы: «Восемнадцатилетняя девушка из Влашима, идя на смерть, крикнула на весь лагерь:

– Вам за все это отомстят! Советы придут и расправятся с вами беспощадно!»

Не успела, бедняжка, разобраться, что нацизм и коммунизм – это одно и то же.

Нельзя пропустить и еще один нерядовой случай: на колке дров какой-то голландский еврей остановился протереть очки и тут же получил удар плеткой от самого начальника лагеря Френцеля; очки разбились, несчастный начал колотить топором вслепую, а Френцель принялся хлестать его, как выбившуюся из сил лошадь.

«На какое-то мгновение я даже опустил топор. Френцель тут же заметил это и подозвал меня:

– Ком!

Делать нечего, пришлось подойти. Я хотел одного: чтобы этот выродок видел, что я его не боюсь. Я выдержал его наглый, издевательский взгляд. Он грубо оттолкнул голландца и произнес на ломаном русском языке:

– Русский солдат! Я вижу, тебе не нравится, как я наказываю этого лентяя. Так вот, даю пять минут, чтобы ты расколол этот чурбак. Если расколешь – дам пачку сигарет. Если опоздаешь хоть на мгновение – получишь двадцать пять ударов».

Печерский, валясь с ног, управился за четыре с половиной минуты, но от сигарет отказался. А потом отказался еще и от половины буханки с куском маргарина.

«Френцель судорожно сжал в руке плетку, но что-то удер-

живало его от того, чтобы ударить меня, как он это делал обычно по сто раз в день. Он стиснул зубы, резко повернулся и ушел».

Забыв завет древних римлян: убивайте гордых. За что и поплатился: именно Печерский возглавил организацию побега. Но когда один еще больший гордец с компанией решили сами идти в отрыв, Печерский поговорил с ним очень серьезно:

«— Тебе с друзьями на всех наплевать? Так я везде расставлю своих людей, и если будет необходимо...

— Так что ты сделаешь? Убьешь меня?

— Если потребуется».

Бежать нужно было либо всем, либо никому: интендант второго ранга еще не дорос и до современного индивидуализма.

И вот 14 октября 1943 года Печерский и его команда в назначенное время заманили несколько немецких офицеров в швейную, сапожную, мебельную мастерскую якобы посмотреть заказы, там в течение часа их всех по очереди прикончили заранее приготовленными топорами и завладели их оружием.

«Заранее было выделено семьдесят человек, почти все наши, советские военнопленные, которые должны были напасть на оружейный склад. Поэтому они шли в передних рядах колонны. Но сотни людей, которые только догадывались о том, что что-то в лагере происходит, но не знали ничего

конкретного об операции, теперь в последнюю минуту поняли и стали напирать и толкаться. Каждый боялся остаться позади и стремился вперед».

Начальника караула удалось взять в топоры, но удержать толпу было уже невозможно.

«Тогда я громко крикнул:

– Товарищи, вперед к офицерскому дому, режьте проводочные заграждения!

– Вперед! – кто-то поддержал меня.

Как гром раскатились по лагерю смерти выкрики людей. Шестьсот человек, измученные, истосковавшиеся по свободе, с криком "ура" рванулись вперед. В этом едином порыве объединились евреи России и Польши, Голландии и Франции, Чехословакии и Германии.

Лишь теперь охранники на вышках спохватились, что в лагере происходит что-то не то, и открыли стрельбу. Бывший майор Пинкевич и большая часть лагерников следом за ним кинулись к центральным воротам. Охранник у ворот был сметен и раздавлен под напором людей. Восставшие открыли стрельбу из имевшихся у них нескольких винтовок, в фашистов полетели камни, в глаза им бросали песок, и все бежали, бежали к лесу. Но до леса многие не дотянули. Одни подорвались на минах, других догнали пули...

Советские военнопленные, следуя за мною, бросились на оружейный склад, но ураганный пулеметный огонь охранников прижал нас к земле. Оставшиеся в живых фашисты бро-

сились отбивать склад. У восставших было всего несколько винтовок и пистолетов, и этого хватило, чтобы заставить фашистов ползать на четвереньках, но оказалось недостаточно, чтобы захватить оружейный склад. Захват склада не удался.

Почти у самых дверей склада я заметил начальника лагеря Френцеля, когда обершарфюрер пытался подняться с земли. Я в него выстрелил дважды, но не попал: видно, дало себя знать нервное напряжение».

В столь же нейтральных выражениях выдержано все повествование: нервное напряжение, не более того. Френцель, наверное, тоже испытал порядочное нервное напряжение. То-то, поди, потом каялся в своем неуместном гуманизме (единственная разновидность пресловутого *покаяния*, в искренности которого сомневаться невозможно).

«За офицерским домом мы прорезали себе дорогу в заграждениях. Мой расчет, что поле за офицерским домом заминировано только сигнальными минами, оправдался. Но вот недалеко от ограждений рухнули трое наших. Возможно, они погибли не от осколков, а от пуль, так как с разных сторон немцы вели по нам беспорядочную стрельбу.

Сам я вместе с несколькими вооруженными лагерниками немного задержался, чтобы прикрыть безоружных беглецов.

Кто-то ко мне обратился:

– Товарищ командир! Пора отходить.

Какой внутренней радостью откликнулись во мне эти слова "товарищ командир", которых я давно уже не слышал».

И ему благородные люди тоже не успели разъяснить, что привязанность к советским символам есть признак совка и быдла, – не дожил Александр Аронович до светлых дней истинной свободы. Но Френцель, возможно, и дожил, успел получить моральную компенсацию за свою ошибку: он, оказалось, не так уж и ошибался, полагая, что имеет дело с трусами и рабами.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.